

«Велико незнание России посреди России». Эти бес­ смертные слова Гоголя не только не устарели — они при­ обретают в последнее время какой-то фатальный смысл и вполне могут быть подняты над зданием министерства образования и как оценка успеваемости по этому пред­ мету, и как напутствие, с каким оно, министерство обра­ зования, могло бы пойти на преодоление этого незнания. С еще большим основанием гоголевские слова могли бы быть водружены над зданием правительства России, но речь сейчас о школе, об образовании, о наших надеждах на завтрашний день.

Велико незнание России, велико непонимание и вели­ ко уже ее неузнавание. «Эти бедные селенья, эта скудная природа — край родной долготерпенья, край ты русского народа!» — картина, конечно, безрадостная, но не безна­ дежная, сквозившая и тайно светившая обещанием буду­ щих перемен и «в наготе своей смиренной», которую не поймет и не оценит «гордый взор иноплеменный». Сегод­ ня этот «гордый взор иноплеменный» со злорадством пере­ мещается в нас.

Удивительно, как имя, название, звучание любого дела и учреждения, тем более учреждения, представляющего собой один из основных и жизне­ творных органов госу­ дарственного организма, как это преломленное название способно неизбежно перейти в суть учреждения и пре­ ломить его назначение. Было когда-то министерство на­ родного просвещения и просвещала молодые поколения, давало им вместе с науками тепло отеческого наставления и отеческой веры, напитывало родным духом и расчища­ ло отечественные родники с живой водой. Вероятно, это просвещение не было идеальным и не было полным, но по направленности, по задачам своим оно было верным — по­ мочь наполниться своим и родным настолько, чтобы вме­

сте с физическим возрастанием без болезненных наростов шло возрастание духовное, т.е. заложить прежде в личность национальный камертон, а уж затем пускать ее в море зна­ ний.

Сейчас у нас министерство образования, сохранившее свою вывеску еще с советских времен. Как бы не скры­ вающее цели преобразовать, перестроить, переоснастить поступающие в его распоряжение души на принятую стан­ дартную колодку. При коммунизме это была идеологиче­ ская колодка, и привела она к такому уродливому и дво­ душному явлению, как «образованщина», которая сыграла как не главную ли роль в развале прежней общественной системы. Теперь эта колодка рыночная. При коммунизме почва не отвергалась окончательно, хотя использовался только верхний ее слой; теперь и почва, традиция, вековое народное бытие подвергаются тотальной и безжалостной обработке, чтобы не повторить ошибок коммунизма, когда из них чудом принялась прорасти, казалось бы, оконча­ тельно вбитая в прошлое тысячелетняя Россия.

В этом и суть навязанных нам реформ: выдернуть, как морковку, современную Россию из России глубинной, придать ей товарный вид и выставить на прилавок.

Пушкин сказал о Петре:

Не презирал страны родной —

Он знал ее предназначение.

«В самом деле, — писал В. Розанов в статье «Представле­ ние о России в годы учебной реформы» (учебная реформа того времени и дала Розанову толчок поразмышлять шире о путях российских реформ. — **В. Р.**) — в самом деле, успех реформы Петра Великого — в том, что «препобедила вся­ кую тьму», заложен был не только в силе, которую дало ему его положение, и не в одной его огромной решимости, но и в этом особенном его отношении к преобразуемой стра­

не, на которое указал поэт... Петр не исцужа пришел к нам, он встал к России не в положении инородной силы... «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога; жила бы и цела Россия», — так в памятных словах перед Полтавой он определил себя, указал служебное, покорливое, второстепенное свое значение около России. Из этого взгляда на себя вытекла простота его приемов. Он боролся с Россией, но... на русской же почве; с нравами, но русским же нравом; с обычаем, но не покидая русской своеобразности; и, наконец, он сам, он весь в лице своем, движениях, манере был новый русский быт, и только более свежий и, главное, более правдивый, чем тот окаменевший в своей условности и формализме прежний быт... Россия старая, Россия предания оказалась бессильной против него, потому что он не хотел и не требовал от нее ничего, кроме правды в ней же самой, в ее же вере, в ее притязаниях...»

Но Пушкин, согласившийся с Петром, и сам был реформатором. Всякая внутренняя реформа, как исправление сложившегося порядка вещей, но именно как исправление порядка, который становится громоздким и неуклюжим, происходит в свое время, словно бы соизволением свыше. Трудно представить, чтобы державинская ода «Бог», как и оды Ломоносова и ранние оды Жуковского, были произнесены пушкинским слогом, без той торжественности и колокольного звона в поэзии, который был духом XVIII века. Нельзя представить, чтобы «Слово о полку Игореве», наша национальная святыня, звучало бы как-то иначе, чем на языке своего времени, в глубинах нашего сознания этот язык сохранился, и мы вспоминаем его тотчас же, как переносимся в XII век, а все множественные переводы «Слова...» последних десятилетий вызваны не разъяснением смысла, который давно разъяснен, а желанием прикоснуться к этой святыне авторским пером и взять уроки мастерства.

Иван Ильин, говоря о Пушкине как реформаторе языка, отмечает, что он, Пушкин, «нашел точную меру, верный критерий, чтобы от многого отказаться, но и многое сохранить, и ровно столько, сколько нужно». «Пушкин, — продолжает Ильин, — один из тех, кому по плечу любая свобода и оторванность от корней, поскольку они обладают материей и силой, чтобы независимо и свободно укорениться в Боге».

Но чтобы «укорениться в Боге», оторванность от почвы и не нужна, от почвы к Богу ближе. Вообще вся наша дворянская литература XIX века, и в особенности поместного дворянства, на удивление почвенна, но это уже удобренная просвещением почва, нагретая не только солнышком, а и культурой, но и не потерявшая своего природного состава. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» — воскликнул Пушкин, слушая Арину Родионовну. Он-то воскликнул, и восклицание это дошло до нас, но как важно, чтобы в школе оно прозвучало с той же интонацией, искренностью, радостью и удивлением, с какими было произнесено поэтом.

Сохранились записи Ф. М. Достоевского при пересечении им пограничной станции по пути в Европу — записи, имеющие отношение к тогдашнему образованному классу. Достоевский размышляет: «Как еще не переродились мы окончательно в европейцев?.. Ведь не няньки же и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было бы Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор? Неужели же не вздор? Вот теперь много русских людей везут воспитываться во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина — там у него не будет ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели? А уж Пушкин ли не русский был человек! Ведь это пророк и провозвестник. Неужели же в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя; и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротиться».

Прошло полтора столетия, и слова Федора Михайловича «хоть и оторвешься, так все-таки назад воротиться» потеряли свой утвердительный смысл. Возвращаются изредка и ныне, но возвращаются с заграничными паспортами, как послы чужих порядков, для того, чтобы и в России отрывать от России.

«Есть в природе закон, — это опять из статьи В. Розанова о принципах образования, — есть закон, по которому два луча света, известным образом направленные, взаимно интерферируются и вместо того, чтобы производить усиленное освещение, производят темноту; есть нечто подобное и в душевной жизни человека: в ней также интерферируются образующие впечатления, если они противоположны по своему типу, и вместо того, чтобы просвещать ум и сердце, погружают их в совершенный мрак. Это мрак хаоса, когда сведения есть, когда знаний много и, однако, нет из них ни одного дорогого, не осталось и тени веры во что-нибудь, убеждения, готовности, потребности, — кто теперь не узнает его в себе, не скажет: это — я, это — моя пустота».

Куда современной и злободневней: «это — я», «это — моя пустота». Образование наше строится по принципу подобных взаимоисключающих и взаимопоглощающих лучей, один из которых традиция, вернее, остатки традиции, «это я», и второй — навязанная бесшабашно школе инновация, это «моя пустота». Казалось бы, в таком положении образование должно стать слугой двух господ, однако в действительности даже и этого не происходит, ибо оно все решительней дает понять «старой закваске», что права ее на молодое поколение подходят к концу. И вот уже в школьных программах напротив одного ряда другой, несовместимый с первым и приготовленный для его замещения: напротив Пушкина свой Пушкин, к примеру, Бродский, напротив Есенина — Высоцкий, напротив Достоевского — к примеру, Сорокин, напротив Толстого с «Войной и миром» свой Толстой — к примеру, Войнович с «Чонкинским», напротив Белинского — Ерофеев... Я говорю «к примеру», потому что имена второго ряда могут меняться, но ни в

кoем случае не меняется сама его духовная составляющая. Фигуры эти из второго ряда, разумеется, могут быть в литературном процессе, и они там есть, но зачем же их включать в рацион материнского молока, ибо школьное образование и есть материнское молоко, продолжающее необходимое кормление с пеленок, и если оно не отвечает этому назначению и этому составу, если оно превращено в молоко хищной волчицы — так чего же тогда и ждать?!

Рука вершителей образования поднимается уже и на «Евгения Онегина», и на «Героя нашего времени», и на «Тараса Бульбу». Стандарты по литературе все больше и больше теснят Пушкина, Тютчева, Фета, Некрасова, Блока, Есенина, выброшены «Конек-Горбунук» Ершова, «Аленький цветочек» Аксакова, «Снегурочка» А. К. Толстого, не стало Кольцова, прежних народных былин и сказок. Подмены, подмены, подмены... «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!» — поклялась в блокадном Ленинграде Анна Ахматова, тоже теснимая теперь в школе, — и тогда действительно сохранили, потому что учились по старым учебникам.

«...возврат к национальным традициям — вот истинная новизна для нашего времени», — сказал Георгий Свиридов, но сказал, кажется, уже в пустоту, почти никто его не услышал.

Чтобы прикрыть и оправдать безграмотность, вводят тесты-угадайки; чтобы не обнаруживать хитроумных нарядов школьной экипировки, не способной прикрыть дыры, притащили из чужих краев единый экзамен. А с родины этого изобретения, этого единого для выпускников школ и поступающих в университеты, все чаще звучат крики о беде: тамошние Митрофанушки и после университетов не умеют писать и едва-едва читают по складам. Причину видят в отступлении от фундаментального образования в сторону прикладного, хотя она, конечно, глубже и кроется в самом обществе, но ведь и у нас это прикладное и непрофильное густым забором, через который трудно протрапсаться, огораживается теперь от основного. «Зачем ума искать и ездить так далеко?» Нет ответа на эти классические вопросы, а есть задание и есть его исполнение. И еще: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа». Кто мог бы представить, что слова эти, должны говорить о величии России, могут быть применены к ее возвратному ходу, к пресмыкательству перед другими народами и государствами, которые прежде уважительно посторонивались и уступали ей дорогу!

Еще Ушинский говорил о необходимости сделать русские школы русскими. Стало быть, и в его время в этом была потребность. Сделать русские школы русскими — не значит уткнуться в русское и ничего больше не признавать, мы шире своей колыбели, и об этом прекрасно сказал Достоевский в своей пушкинской речи. Но для того, чтобы принять в себя богатство мировой культуры и науки не для

складирования только, а для питания и развития, материя души у русского человека должна быть русской и православною. Такими были в совершенстве своей личности Ломоносов, Менделеев и Вернадский, Пушкин и Тютчев, Толстой и Достоевский, Аксаковы и Киреевские. Русскими остались тысячи и тысячи ушедших на чужбину после Гражданской войны, удивляя просвещенные страны, такие как Франция и Германия, неповрежденностью и глубиной своих ярких талантов. «А за то, что нас Родина выгнала, — мы по свету ее разнесли» — да, разнесли и души, и песни, и особенности нашего быта, и уживчивость, и говор, и веру. Там, на чужбине, созданы были и «Жизнь Арсеньева», и «Лето Господне» с «Богомольем», и многое другое, без чего нашу культуру и не представить.

В воспоминаниях о Бальмонте Шмелев записывает: «Лет шесть, по полугоду мы жили рядом... сидели на излучине у речки — тенистые берега, коряги, сосны, пески и кулики... Я слышал о России, все чаще о России. Мы ее искали, вспоминали... Осень... близка полночь... Вдруг шорох, неурочные шаги... И оклик тихо: «Вы еще не спите?» А ночные! Еще не спим. И мы беседуем, читаем. Он — новые сонеты, песни... Я — «Богомолье», приоткрываю детство, вызываю. Мы забывались, вместе шли... в Далекое Святое, дорогое».

И кто бы мог представить, что пройдут годы, и мы, не покидавшие Родины, будем так же тосковать о России посреди России, хвататься за нее, гонимую, искать заклинающие слова, и замолкать в отчаянии. А вернувшийся на Родину в гробу Иван Сергеевич Шмелев мог бы гордиться тем, что его «Лето Господне» предложено теперь и школе, если бы... если бы школа имела один голос, одно направление, как в его детстве.

Русский язык, отечественная словесность и отечественная история — когда бы оберечься этим триединством в их нераздельности, да еще с молитвой, — встали бы мы на путь спасения.

Хрестоматийные слова Тургенева о русском языке хорошо известны, мы в свою пору заучивали их наизусть, и я бы не стал их повторять, если бы не отчетливое ощущение, что именно для нашего, настоящего времени и вызрели они в полном смысловом звучании. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины (разве мы не на пике этих сомнений и раздумий? — **В. Р.**) ты один мне поддержка и опора (разве не так? — **В. Р.**) о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?!» Не будь тебя — кажется, и дыхания уже не было бы... Как это верно и какая это живительная поддержка для всех поколений русского человечества, которую не обогатить и не запретить, не спрятать и не убить, хотя и пытаются обогатить, хотя и пытаются переговорить и перекричать иными наречиями, зачернить грубостью и дикостью.

И все это было бы ничего, не опасно и никакого вреда нашему языку принести не могло бы... Если бы мы читали. А читают все меньше. Если бы, как в чистилище, заглядывали мы почаще в книгу безупречной чистоты и восстанавливали свое дыхание и кровообращение, свое богоданное чутье на хорошее и плохое... Чтение доброго и прекрасного, вздымающего душу, — это тоже молитва, пусть и мирская, но совсем теперь близкая к божьей...

Пушкин во имя красоты, гибкости и чуткости русского языка снял с него оскомину церковно-славянского, но не вывел из храма и умел настроить свою лиру на молитвенный лад. Этот лад не покидал потом никого из наших больших мастеров, однако требовал все той же настройки. Шмелева нельзя назвать реформатором языка, но в свое суровое время он сумел придать ему редкую, небывалую дотоле дружественность, ласку и даже умильность — точно сам язык, пораненный во вражде и войнах, высмотрел Шмелева в каких-то дальних и укромных своих палестинах и вручил ему этот дар всегда теплого и сердечного звучания. Иван Шмелев — это Алеша Карамзев в русском литературном братстве XX века, в котором, как в романе Достоевского, были разные персонажи, — Алеша, явивший монастырскую душу всепонимания и прощения.

Воистину это волшебство: нет ничего в человеке, ни в чувствах его и мыслях, ни в самых потайных движениях души, ни во вздохе его и взгляде, что бы наш язык ни назвал. Нет решительно ничего ни в человеке, ни в нем, ни перед чем бы он остановился в бессилии: нет, не могу. Он может все, длань его объемлет и малое, и большое, и для тех, кто принят им в его царство, он не инструмент, как легкомысленно полагают, а учитель и духовник, всемогущий владык несметного богатства. Не знаю, есть ли в мире еще язык, подобный нашему; судя по почтению и удивлению, с какими относятся всюду к русской литературе, пожалуй, и нет. Мы счастливые избранные, и не хочется даже предполагать, будто мы потеряли способность понимать, что нам дано, и утратили чувствительность к красоте и силе нашего языка. Это было бы самоубийством.

В пору моего школьного ученичества было принято и заучивать большие отрывки из программных литературных произведений, и зачитывать их перед классом. Никогда не забуду своего неожиданного и счастливого преображения, происшедшего со мною, когда вызвали меня к доске прочитать отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Певцы».

«Он пел (он — это Яков, мужик, в певческом поединке взявшийся исполнять народную «Не одна во поле дороженька пролетала». — В. Р.), — он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена це-

ловальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дико-го-Барина, из-за совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился...»

Дома, готовя урок, я прочитывал этот отрывок спокойно, но перед классом, произнося его, я вдруг перенесся туда, в этот кабачок, где звучала песня, и донесшийся вьязы голос Якова вдруг пронзил меня, сердце мое захолонуло от восторга, словно бы проклюнулось,хватило воздуха, и к глазам тоже стали подниматься слезы, голос мой сорвался и умолк... Потом те же счастливые слезы проникновения в родное и глубинное я испытал при чтении рассказа И. А. Бунина «Косцы», где рязанские мужики за покосным трудом, встав в ряд и размашисто водя литовками, пели в голос... Как пели, Господи, как пели, вынося и вздымая в небеса какое-то неслыханное счастье быть русским человеком!.. И до сих пор поют, когда находятся слушатели. Как много подобного чуда, подобного волшебного прозрения души в нашей литературе! Это больше, чем художественность, это — редчайшее постижение заложенной в наш народ тайны.

Вольно или невольно, это особый разговор, вольно или невольно мы подошли сегодня к черте, когда школа становится не частью жизни, одной из многих частей, а последней надеждой на наше национальное существование в мире. Никогда еще так не нуждалась школа в грамотном учителе — грамотном не только в своем предмете, а прежде всего и свыше всего в науке отечественного обоняния и осязания, с которых начинается гражданство. Школьное образование сегодня — это служение, и служение тяжкое — до самоотвержения и креста, и кто не готов к нему, тому лучше отойти в сторонку и заняться другим делом. Сегодня еще не поздно, есть все признаки того, что и со школьных парт, и в вузовских аудиториях чают и ждут такого учителя. В последнее время мы часто вспоминаем нижегородское ополчение, спасшее Россию в смуту XVII века, — новая смута теперь закрадывается в нас самих, в народ наш, пришла пора вставать против нее всеми здоровыми силами. Хватит оглядываться с опаской, что подумают о нас, хватит — надо думать о своем спасении, никто в этом жестоком мире нам его не подарит. Как говорил Достоевский: «Как только мы почувствуем себя русскими и православными, тотчас все и устроится». ■